

Высокий модернизм XX в.

Идея радикальной рациональной перестройки социального порядка в целом, создание рукотворных утопий — в значительной степени явление XX в. И совокупность исторических обстоятельств оказалась особенно благоприятной для процветания идеологии высокого модернизма. К этим обстоятельствам относятся прежде всего кризисы государственной власти, возникающие в результате войн и экономических депрессий, и ситуации, в которых увеличивается способность государства беспрепятственно планировать жизнь своих граждан, такие, как революционное завоевание власти или колониальное правление.

Индустриальные войны XX в. потребовали беспрецедентных шагов к полной мобилизации общества и экономики[235]. Даже весьма либеральные страны, такие как Соединенные Штаты и Англия, в условиях военной мобилизации стали обществами, непосредственно руководимыми административными ведомствами. Всемирная депрессия 30-х годов также толкала либеральные государства на крупные эксперименты в социальном и экономическом планировании в стремлении уменьшить экономическое бедствие и сохранить законопослушность народа. В случаях войны и депрессии общество под давлением обстоятельств возвращается к централизованному управлению. В эту же категорию хорошо укладывается и послевоенное восстановление разрушенного войной хозяйства.

Революционные преобразования и колониализм, обладающие необычной властью, скатываются к высокому модернизму по различным причинам. Революционное государство, победившее прежний режим, часто имеет от своих приверженцев мандат на переделку обессиленного гражданского общества, мало способного к активному сопротивлению[236]. Тысячелетние ожидания, обычно связываемые с революционными движениями, дают стимул высокомодернистским амбициям. Колониальные режимы, особенно позднеколониальные, часто оказывались полем для обширных экспериментов по социальной перестройке[237]. Идеология «колониализма благосостояния» в сочетании с авторитарной властью, свойственной колониальному правлению, поощряла честолюбивые схемы переделки местных обществ.

Очень трудно точно определить место и время рождения высокого модернизма XX в., а также того конкретного человека, которому он обязан своим рождением, поскольку высокий модернизм имел много интеллектуальных источников. Все же наиболее ярким примером является немецкая мобилизация в период Первой мировой войны и личность Вальтера Ратенау, тесно с ней связанного. Немецкая экономическая мобилизация была технократическим чудом войны. То, что Германия продолжала держать армии на поле боя и, соответственно, снабжать их гораздо дольше, чем это было возможно, по мнению большинства наблюдателей, в значительной степени объяснялось планированием Ратенау[238]. Инженер, глава крупнейшей электрической фирмы A.E.G. (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), основанной его отцом, Ратенау отвечал за доставку военного сырья (Kriegsrohstoffabteilung)[239]. Он понял, что рациональное планирование сырья и транспорта

— ключ к поддержанию военных усилий. Шаг за шагом изобретая плановую экономику, Германия совершила подвиг — в индустриальном производстве, производстве боеприпасов и поставке вооружения, транспортировке и контроле движения, контроле за ценами и нормировании продуктов — шаг, никогда и никем прежде не предпринимавшийся. Этапы планирования и координации требовали беспрецедентной мобилизации призывников, солдат и военизированной индустриальной рабочей силы. В результате появилась идея создания «управляемых массовых организаций», которые должны были охватывать все общество[240].

Вера Ратенау в распространение планирования и рационализацию производства была основана на интеллектуальной связи между законами термодинамики, с одной стороны, и новыми прикладными науками, изучавшими деятельность человека, с другой. Для многих специалистов узкий и материалистический «продуктивизм» позволял понимать человеческую рабочую силу как механическую систему, которую можно проанализировать на языке физики работы. Упрощение человеческой деятельности до механической полезной работы ведет прямо к научному контролю за целостным трудовым процессом. Материализм конца XIX в., как подчеркивает Ансон Рабинбах, в своем метафизическом ядре содержал эквивалентность технологии и физиологией[241].

Продуктивизм имел по крайней мере два разных места происхождения: североамериканское и европейское. Исследования американца Фредерика Тейлора деятельности рабочего, разложенной на изолированные, точные, повторяемые движения, привели к настоящей революции в организации работы фабрики[242]. Фабричному менеджеру или инженеру недавно изобретенные сборочные линии позволили использовать малоквалифицированную рабочую силу и контролировать не только темп производства, но и трудовой процесс в целом. Европейская традиция «энергетики», которая сосредоточилась на вопросах движения, усталости, отдыха, рациональной гигиены и пищи, также представляла себе рабочего как машину, хотя и машину, которая должна хорошо питаться и сохранять нормальное рабочее состояние. Вместо конкретных рабочих рассматривался абстрактный, стандартизированный субъект, обладающий усредненными физическими силами и потребностями. Работа института кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie), занимавшегося физиологией трудовой деятельности, подобно тейлоризму, была основана на системе рационализации функционирования органов тела[243].

Обе эти традиции были примечательны тем, что в них глубоко верили образованные элиты, которые во всем остальном придерживались противоположных точек зрения, особенно в политике. «Тейлоризм и технократия были лозунгами, идеалистическими в трех направлениях: устранении экономического и социального кризиса, увеличении — с помощью науки — производительности труда и восстановлении магии технологии. Образ общества, в котором социальный конфликт устранен и заменен чисто технологическими и научными проблемами, мог захватить либерала, социалиста, авторитариста и даже коммуниста или фашиста. Продуктивизм, короче говоря, был политически разнороден»[244]. Обращение правых и центристов к той или иной форме продуктивизма в значительной степени объяснялось надеждой на его возможности технологически справиться с классовой борьбой. Если, как утверждали сторонники продуктивизма, с его помощью можно

значительно увеличить объем продукции, то политику перераспределения можно заменить классовым сотрудничеством, в котором и прибыль, и заработная плата будут расти одновременно. Многим левым продуктивизм обещал замену капиталиста инженером, государственным экспертом или чиновником. Он также предлагал единственное оптимальное решение, или «лучшую практику», для любой проблемы в организации труда. Логическим результатом была бы некоторая форма уравнительного авторитаризма, устраивающая, возможно, всех[245].

Сочетание глубоких знаний Ратенау в философии и экономике с его опытом планирования в военное время, а также социальные последствия, которые он связывал с точностью, распространением и преобразовательным потенциалом электроэнергии, позволили ему сделать полезные выводы для социальной организации. Во время войны частная промышленность открыла дорогу своего рода государственному социализму: «гигантские индустриальные предприятия вышли за пределы их якобы частных владельцев и всех законов о собственности»[246]. Требуемые решения не имели никакого отношения к идеологии; они диктовались чисто техническими и экономическими требованиями. Правление специалистов и новые технологические возможности, особенно разветвленные сети электроэнергии, сделали возможным новый социально-индустриальный порядок, который был и централизован, и локально автономен. В необходимом во время войны объединении индустриальных фирм, технократов и государства Ратенау усмотрел форму прогрессивного общества мирного времени. Поскольку технические и экономические условия реконструкции были очевидны и требовали того же вида сотрудничества во всех странах, рационалистическая вера Ратенау в планирование имела еще и интернациональное значение. Он характеризовал современную эпоху как «новый машинный порядок... а также консолидацию мира в бессознательную ассоциацию самоограничения, в непрерывное сообщество производства и гармонии»[247].

Мировая война была высшей точкой политического влияния инженеров и планировщиков. Увидев, что произошло в чрезвычайных обстоятельствах, они представили себе, что было бы, если бы такая энергия и такое планирование были направлены на народное благосостояние, а не на массовое разрушение. Вместе со многими политиками, промышленниками, лейбористскими лидерами и видными интеллектуалами (такими, как Филип Гиббс в Англии, Эрнст Юнгер в Германии и Гюстав Ле Бон во Франции) они пришли к выводу, что только обновленная и всесторонняя деятельность, посвященная техническим инновациям и планированию, может восстановить европейскую экономику и принести социальный мир[248].

Сам Ленин, пораженный достижениями немецкой индустриальной мобилизации, был убежден, что они открывают путь социализации производства. Вера Ленина в неизменность открытых Марксом законов социальной жизни, родственных законам развития Дарвина, сравнима только с его убежденностью, что новые технологии массового производства основаны на научных законах, а не на социальных конструкциях. Всего за месяц до революции октября 1917 г. он писал, что война «ускорила развитие капитализма в такой громадной степени, преобразовывая монополистический капитализм в государственно-монополистический, что ни пролетариат, ни революционные мелкобуржуазные демократы не могут уже удержаться в рамках капитализма»[249]. Он и его экономические советники в

планировании советской экономики основывались непосредственно на работе Ратенау и Моллендорфа. Для Ленина немецкая военная экономика была «окончательна в современных, крупномасштабных капиталистических методах планирования и организации»; он выбрал ее в качестве прототипа социалистической экономики[250]. Если бы рассматриваемое государство было в руках представителей рабочего класса, базис социалистической системы уже существовал бы. Ленинское представление о будущем очень напоминало взгляд Ратенау, но, конечно, если оставить в стороне не столь уж мелкий вопрос о революционном захвате власти.

Ленин высоко оценил преимущества тейлоризма на фабричном уровне, предлагая их для социалистического контроля над производством. И хотя раньше он осуждал эти методы, называя их «потогонной системой», ко времени революции он стал восторженным поклонником существующего в Германии систематического контроля за производством, расхваливая «принцип дисциплины, организации и гармоничного сотрудничества, основанного на современной механизированной промышленности, наиболее твердой системе ответственности и контроля»[251].

“ «Последнее слово капитализма, система Тейлора, как и весь капиталистический прогресс, является сочетанием тонкой изворотливости буржуазной эксплуатации и множества ее больших научных достижений в анализе механических действий в процессе работы, устранения лишних и неуклюжих движений, правильной работы правильными методами, введения лучшей системы бухгалтерского учета и контроля и т. д. Советская республика должна любой ценой использовать все, что является ценным в достижениях науки и техники в этой области... Мы должны организовать в России изучение системы Тейлора и обучение ей, систематически опробовать ее и приспособить к нашим целям»[252].

В 1918 г., при спаде производства, Ленин, призывая к твердым нормам работы, был готов, если это окажется необходимым, снова ввести ненавистную сдельщину. В 1921 г. был созван Первый Всероссийский съезд по научной организации труда и вызвал споры между сторонниками тейлоризма и энергетики (также называемой «эргономикой»). По крайней мере двадцать институтов и многие журналы были в то время в Советском Союзе целиком посвящены научному управлению. Командная экономика на макроуровне и тейлористские принципы центральной координации на микроуровне фабрики были привлекательными и хорошо сочетались в сознании такого авторитарного высокого модерниста и революционера, каким был Ленин.

Несмотря на соблазны, которые в XX в. привлекали людей к высокому модернизму, эти идеи часто встречали сопротивление. Причины были сложные и разные. Я не собираюсь подробно исследовать все потенциальные препятствия высокомодернистскому планированию, но один барьер, установленный либеральными демократическими идеями и учреждениями, заслуживает внимания. Три фактора здесь кажутся решающими. Первый — существование частной сферы деятельности и вера в то, что государство и его организации не могут по

закону в нее вмешиваться. Безусловно, эта зона автономности уже изживала себя, так как, по Мангейму, частная сфера постепенно становилась объектом государственного вмешательства. В работе Мишеля Фуко была сделана попытка систематизировать эти вмешательства государства в здоровье, сексуальность, психические болезни, бродяжничество и проанализировать стратегии, лежащие в их основе. Несмотря на это, сама идея неприкосновенности приватного мира служила фактором ограничения амбиций многих высоких модернистов посредством либо их собственных политических ценностей, либо правильного отношения к политической буре, которую вызвали бы такие вмешательства.

Второй фактор, тесно связанный с первым, — частный сектор в либеральной политической экономике. Как выразился Фуко, в отличие от абсолютизма и меркантилизма «политическая экономия объявляет невозможным определить, какой из множества экономических процессов является независимым, и, как следствие, считает *невозможным экономический суверенитет*»[253]. Мысль либеральной политической экономии состояла не только в том, что свободный рынок защищает собственность и созданное богатство, но и в том, что экономика слишком сложна для того, чтобы когда-либо детально управляться иерархической администрацией[254].

Третье и, пожалуй, наиболее важное препятствие радикальному применению высокомодернистских схем — деятельность представительских учреждений, через которые могло проявляться общественное сопротивление. Такие учреждения мешали реализации наиболее жестких высокомодернистских схем приблизительно таким же путем, которым гласность и мобилизация оппозиции в открытых обществах, как показал Амартия Сен, предотвращают голод. Правители, замечает он, не допускают голода и готовы его заблаговременно предупредить, если их положение зависит от внешних факторов. Свобода слова и печати гарантирует широкое распространение информации о надвигающемся голоде, а свобода собраний и выборов в представительские учреждения заставляет избранных чиновников по возможности предотвратить голод, поскольку это отвечает интересам их самосохранения. Так что при либеральных демократических установлениях деятели, предлагающие высокомодернистские системы, должны приспосабливаться к мнению граждан, чтобы быть избранными.

Но высокий модернизм, не сдерживаемый либеральной политической экономией, лучше всего может быть понят через разработку его далеко идущих притязаний и их последствий. Именно к этому, к практической топографии в городском планировании и революционным рассуждениям по этому поводу мы теперь обратимся.